

численные, и потому их не описываю, но кой-что упомяну. Во 1-х, сижу над работой как каторжник. Это тот роман в „Русский вестник“. Роман большой в 6 частей. В конце ноября было много написано и готово; я все сжег; теперь в этом можно признаться. Мне не понравилось самому. Новая форма, новый план меня увлек, и я начал сызнова. Работаю я дни и ночи и все-таки работаю мало. По расчету выходит, что каждый месяц мне надо доставить в „Русский вестник“ до 6-ти печатных листов. Это ужасно; но я бы доставил, если б была свобода духа. Роман есть дело поэтическое, требует для исполнения спокойствия духа и воображения. А меня мучат кредиторы, т. е. грозят посадить в тюрьму. До сих пор не уладил с ними, и еще не знаю наверно — улажу ли? — хотя многие из них благоразумны и принимают предложение мое рассрочить им уплату на 5 лет; но с некоторыми не мог еще до сих пор сладить. Поймите, каково мое беспокойство. Это надрывает дух и сердце, расстраивает на несколько дней, а тут садись и пиши. Иногда это невозможно. <...> Упомянув вам о моих хлопотливых дрязгах, я ни слова не сказал о неприятностях семейных, о хлопотах бесчисленных по делам покойного брата и его семейства и по делам покойного нашего журнала. Я стал нервен, раздражителен, характер мой испортился. Я не знаю, до чего это дойдет. Всю зиму я ни к кому не ходил, никого и ничего не видал, в театре был только раз на первом представлении „Рогнеды“. И так продолжится до окончания романа, — если не посадят в долговое отделение¹⁸. Достоевский признается, что не хочет брать денег вперед у «Русского вестника», чтобы оставаться нравственно свободным: «жмусь и живу нищенски» (там же, стр. 432). И при этом — жгучее желание обогатиться сразу, «вдруг»: «Ведь я мечтаю знаете об чем: продать его (роман — Л. Р.) нынешнего же года книгопродавцу вторым изданием, и я возьму еще тысячи *две* или *три* даже. <...> Но я слишком разболтался о себе. Не считите за эгоизм: это бывает со всеми, которые слишком долго сидят в своем углу и молчат» (совсем, как Раскольников!).

Далее Достоевский, по-видимому, намекает на свой проект нового журнального издания, который, судя по записной тетради, был всесторонне обдуман: «Не знаю еще, что буду делать, когда кончу роман. Главное, тогда подновится мое литературное имя и можно будет к осени что-нибудь предпринять. У меня есть план, но надо быть благоразумным. — Вот вам еще факт: страшно усиливается подписка на все журналы и книжная торговля. Это последние сведения от книгопродавцев, да и сам имею факты»¹⁹. Из суеверного чувства Достоевский не решается посвятить в свой план даже друга, но наедине с собой, молча «в углу», в редких перерывах лихорадочной работы над романом, он лелеял и записывал этот план во всех подробностях.

«...ИХ НАДО ОБЛИЧАТЬ И ОБНАРУЖИВАТЬ НЕУСТАННО»

В тетради 1876—1877 гг. рядом с «Критическими замечаниями» Достоевского о романе Золя «Чрево Парижа» в нижней части листа и на полях мелким, бисерным почерком сделана большая запись. Она касается одного из близких к Достоевскому людей, но при этом имеет отнюдь не только личное, а существенное литературное значение. Это запись о Николае Николаевиче Страхове.

Многое в отношениях Достоевского со Страховым хорошо известно. Не говоря уже о книжках «Времени» и «Эпохи», которые отражают их совместную деятельность в течение пяти лет, напечатаны письма Достоевского к Страхову и Страхова к Достоевскому, их отзывы друг о друге в письмах к другим лицам (особое место среди них занимают письма Достоевского к А. Г. Достоевской и письма Страхова к Толстому). В 1833 г. вышли в свет и до сих пор (несмотря на неточности и умолчания) сохраняют ценность биографического источника «Воспоминания» Страхова о Достоевском. Тем не менее характер дружбы—вражды Достоевского со Страховым, причины постоянно возникавших между ними глубоких разногласий далеко еще не выяснены.

Начнем с 60-х годов. А. С. Долинин, автор статьи «Достоевский и Страхов», считал, что «период существования „Времени“ и „Эпохи“ <...> был периодом наибольшей близости между Достоевским и Страховым»²⁰. Сравнительно с 70-ми годами это,

конечно, справедливо, но даже и здесь вряд ли можно говорить о единомыслии Достоевского со Страховым, тем более о том, что страховское гегельянство укрепило «веру Достоевского в свой реализм», так как дало ему «философское подтверждение».

В архиве Страхова, который находится в Библиотеке Украинской Академии наук (Киев), сохранился очень интересный документ — незаконченная рукопись его статьи «Наблюдения. Посвящается Ф. М. Достоевскому»²¹. (Полный текст будет напечатан в томе «Литературного наследства» «Ф. М. Достоевский. Новые материалы и исследования».) Статья написана в эпистолярном жанре, излюбленном авторами «Времени» и «Эпохи», над чем немало пронизировали публицисты «Современника». Поводом для статьи был большой принципиальный спор Достоевского со Страховым летом 1862 г., когда они вместе жили во Флоренции.

Даже в первом своем заграничном путешествии Достоевский, как известно, был менее всего туристом. В Европе его занимали характеры людей, социальные отношения, политическая жизнь, что ярко отразилось в публицистическом цикле «Зимние заметки о летних впечатлениях». Будучи в Лондоне, Достоевский встретился с Герценом, их беседа оставила доброе впечатление у обоих. «Вчера был Достоевский, — сообщал Герцен Огареву 17 июля 1862 г., — он наивный, не совсем ясный, но очень милый человек. Верит с энтузиазмом в русский народ»²². Страхов отмечает, что тогда Достоевский к Герцену относился очень мягко и его „Зимние заметки“ отзываются несколько влиянием этого писателя»²³. Мысли о России не оставляют Достоевского. Он уехал из Петербурга в тревожные дни, сразу после пожаров. Две редакционные статьи «Времени» о пожарах были запрещены цензурой. (Их текст будет опубликован в томе «Литературного наследства» «Ф. М. Достоевский. Новые материалы и исследования».) «Современник» и «Русское слово» приостановлены на восемь месяцев. Журналу Достоевских удалось избежать этой участи; как было сказано в сообщении министра внутренних дел министру народного просвещения: «...Государь император соизволил разрешить не прекращать ныне издания журнала „Время“, но с тем, чтобы за ним иметь надлежащее наблюдение»²⁴. 7 июля был арестован Чернышевский. Все эти факты нужно иметь в виду, чтобы понять, в каком состоянии душевного напряжения находился Достоевский во время флорентийских бесед со Страховым.

Еще накануне отъезда из Парижа в Лондон Достоевский в теплом дружеском письме звал Страхова за границу, жалуясь на одиночество: «Госкливое, тяжелое ощущение. (...) чувствуешь, что как-то отвязался от почвы и отстал от насущной родной канители, от текущих собственных семейных вопросов»²⁵. Судя по «Воспоминаниям» Страхова, его долгие беседы с Достоевским за границей и, в частности во Флоренции, где они пробыли неделю, происходили в очень приятных, мирных тонах: «Но всего приятнее были вечерние разговоры на сон грядущий за стаканом красного местного вина»²⁶. Так писал Страхов через много лет после смерти Достоевского. Но то, что написал он, обращаясь к самому Достоевскому, сразу же после одного из таких разговоров, и, по-видимому, наиболее важного, воссоздает картину совсем иную.

«В одну из наших прогулок по Флоренции, — пишет Страхов, — когда мы дошли до площади, называемой Piazza della Signoria, и остановились, потому что нам приходилось идти в разные стороны, — вы объявили мне с величайшим жаром, что *есть в направлении моих мыслей недостаток, который вы ненавидите, презираете и будете преследовать всю свою жизнь*. Затем мы крепко пожали друг другу руку и разошлись». (Подчеркнутые нами слова перекликаются с той характеристикой Страхова, которую даст Достоевский в записной тетради почти через полтора десятилетия.)

Страхов отмечает далее, что его радует точность и определенность идейных разногласий с Достоевским: «Знаете ли? Ведь это очень хорошо; ведь это прекрасный случай, лучше которого желать невозможно. (...) Мы нашли точку, на которой расходимся. В чем же эта точка? Страхов доказывает, что существуют идеологи, убежденные, что $2 \times 2 = 4$ и иначе быть не может; те, кто считает, что $2 \times 2 = 5$, заслуживают безоговорочного осуждения, поскольку их увлечения не имеют ничего общего с истиной. По словам Страхова, Достоевский выступил непримиримым противником такого взгляда, с его точки зрения безнадежно ограниченного, ибо нет людей, которые сознательно стремятся к ошибке, и нередко те, кто приходит к неверным выводам, искренне

ищут истину. Страхов следующим образом передает рассуждение Достоевского: «По самой сущности дела всякая мысль имеет свой повод и свое основание, всякая мысль, как широкая и глубокая, так и мелкая и узкая, движется по одним и тем же логическим законам и, следовательно, самое грубое заблуждение носит в себе элементы истины. Следовательно, обвинять кого бы то ни было в абсолютной нелепости совершенно несправедливо».

Нет сомнения, что в таком изложении Страхова есть полемические передержки, присущая ему способность доводить любой аргумент до «логического конца», в данном случае — до абсурда. «И в самом деле, — продолжает он, — смотрите, кого вы против меня защищаете? Ведь вы защищаете решительно всех; вы приносите меня в жертву каждому, кто только ни вздумает открыть рот, потому что что бы он ни сказал и как бы он ни сказал, по-вашему, я обязан непременно понять, что он хочет сказать, и не имеет ли этот желаемый смысл какого-нибудь тайного основания». Страхов считает, что Достоевский предписывает ему такой взгляд на тех, кто не прав: «Хотя и ошиблись, но не хотели ошибиться».

Вряд ли Достоевский считал, что нельзя обвинять в нелепости «кого бы то ни было». Но существо его позиции Страхов передает точно.

Да, действительно, Достоевский был убежден, что нельзя судить идеолога, да и вообще человека по одним лишь последним выводам, к которым он пришел, необходимо понять человека в целом, почувствовать его пафос, внутренний смысл его исканий, найти их «тайное основание». Спор во Флоренции затронул один из главнейших вопросов мировоззрения Достоевского и его творчества. Еще не был написан ни один из великих романов-диспутов, где Достоевский стремился отыскать «зерно истинны», некую субъективную правду в жизненной позиции героев, выступающих идейными противниками, но теоретически его художественный метод, как видим, был полностью подготовлен. И не благодаря Страхову, а вопреки ему и в резкой полемике с ним.

Судя по контексту статьи Страхова, в дискуссии между ним и Достоевским вопрос об отношении к «инакомыслящим» стоял вовсе не абстрактно. Речь шла, конечно, о журнальной полемике и прежде всего с лагерем революционной демократии, поскольку «Время» и «Современник» вели ее из номера в номер, и основным теоретиком почвенничества выступал Страхов. В «Воспоминаниях» Страхов отмечал стремление Достоевского в начале 60-х годов не обострять полемики, но приписывал это лишь тактическим соображениям. Статья «Наблюдения» говорит о большем. Достоевский, исходя из глубоких и принципиальных своих убеждений, хотел вести идейную полемику в ином русле, именно так, как он ее начал в статье «Г.—бов и вопрос об искусстве». Совершенно очевидно, что до лета 1862 г. Достоевского не покидало желание вернуться к тому тону полемики, который существовал при жизни Добролюбова и который заметно изменился, когда главными ее участниками стали Антонович и Страхов. Страхов же стоял на своем. Продолжая рассказ о разногласиях с Достоевским, он пишет в той же статье: «Часто возбуждала неудовольствие и недоумение ожесточенная полемика, которую у нас так охотно ведут журналы. Одна из самых чистых и явных струй в том мутном потоке, без сомнения, та, которую я указываю, то есть, с одной стороны, увлечение до $2 \times 2 = 5$, а с другой стороны, — вражда против всякого $2 \times 2 = 4$. Среди многих разделений образовалось, между прочим, в нашей литературе и такое разделение. Оно должно было образоваться, и столкновение между двумя его сторонами было неизбежно и неизбежно будет повторяться».

Однако не нужно думать, что последующий переход самого Достоевского к ожесточенной полемике есть результат влияния Страхова. Процесс борьбы захватывал Достоевского, и в полемическом гневе он доходил до таких крайностей, которые уравновешенному Страхову были неведомы. «А хуже всего, что натура моя подлая и слишком страстная, — признавался Достоевский А. Н. Майкову в письме 28/16 августа 1867 г. — Везде-то и во всем я до последнего предела дохожу, всю жизнь за черту переходил»²⁷. Конечно, полемический азарт Достоевского объяснялся не только его темпераментом, он был продиктован тревогой, как бы ошибочные теории не принесли непоправимого вреда общественному движению, русскому народу. Но и в тех случаях,

когда Достоевский писал в стиле памфлета, его властно тянуло заняться другим — глубоком психологическим исследованием. Об этом, на наш взгляд, выразительно свидетельствует творческая история «Бесов»²⁸. Внимательного читателя Достоевского не может удивлять его переход от «Бесов» к «Подростку», от изображения нечаявцев в романе к тому, что написано на эту тему в «Дневнике писателя» 1873 г. Страхова раздражала эта двойственность, он видел в ней лишь дурное противоречие и даже желанье подыграть молодому поколению. Салтыков и вслед за ним вся редакция «Отечественных записок» в начале 70-х годов поняли Достоевского лучше, увидев, что главный смысл его произведений заключается в поисках истины, «сущности вещей» и что негодование часто мешает ему «отделить сущность вещей от тех внешних и не всегда приятных для глаз потуг, которыми всегда сопровождается рождение нового явления»²⁹. Салтыков отмечал, что «дешевое глумление над нигилизмом» противоречит главной «творческой силе» Достоевского — «высокой художественной прозорливости».

Обязанность писателя обладать такой прозорливостью, внимательно изучать логику чужой мысли, ища и в ней зерно истины, отстаивал Достоевский перед Страховым как основу своего творческого метода.

Страхов прекрасно понял, что суть разногласий между ним и Достоевским восходит к самой краеугольной и, как сказал бы Достоевский, капитальной проблеме: об отношении к природе человека. Здесь Страхов высказался весь и тем самым очень точно определил противоположное убеждение Достоевского. «Разве хорош человек? — восклицает Страхов. — Разве мы можем смело отвергать его гнусность? Едва ли! Каких бы мнений мы ни держались, когда дело идет об этом вопросе, в нас невольно отзвучат глубокие струны, с младенчества настроенные известным образом. Все мы воспитаны на Библии, все мы христиане, вольно или невольно, сознательно или бессознательно. Идеал прекрасного человека, указанный христианством, не умер и не может умереть в нашей душе; он навсегда сросся с нею. И потому, когда перед нами развернут картину современного человечества и спросят нас, хорош ли человек, мы найдем в себе тотчас решительный ответ: „Нет, гнусен до последней степени“». «Остается сказать еще одно, — заявляет Страхов в заключение: — я не верю ни в философию, ни в экономию, и вообще ни в одну сторону цивилизации, потому что я не верю в человека».

Вот самая важная причина, заставившая Достоевского объявить, что есть в убеждениях Страхова нечто, что он будет ненавидеть, презирать и преследовать всю свою жизнь. Христианство без веры в человека представлялось Достоевскому жестоким и оскорбительным, что он позднее покажет в системе Великого инквизитора. Достоевский был художником, который в своих произведениях постоянно развертывал «картину современного человечества»; в отличие от Страхова на вопрос «хорош ли человек» он затруднялся ответить «тотчас». Но с самой юности, вдохновленной идеалами утопического социализма, и до конца дней Достоевский сохранял веру в человека. Иначе, говоря словами его героя, он бы «истребил себя».

Страхов, спокойно прокламирующий презрение к человеку, был идейным антагонистом Достоевского в гораздо большей мере, чем революционные демократы, хотя и выступал в качестве его союзника. От рассуждений Страхова веяло ненавистным Достоевскому схематизмом отвлеченной мысли, пренебрежением к живым интересам человека. Такие взгляды и некоторые неприятные психологические черты (честолюбие, завистливость и одновременно поклонение славе) Достоевский обычно приписывал «семинаристам». «Семинаристом» впоследствии назовет он и Страхова.

Страхов, не верящий в человека, а значит и в народ, должен был казаться Достоевскому *почвенником без почвы*.

Разногласия Достоевского и Страхова не повлияли на их сотрудничество, оно продолжалось. Вероятно, уступая редактору журнала, Страхов в статье «Тяжелое время» («Время», 1862, № 10) пишет о человеческой природе совершенно в его духе: «...Тот оскорбляет человеческую природу, кто воображает, что можно устроить благополучное человеческое общество без содействия его сознания и свободы»³⁰.

Страхов писал в «Воспоминаниях», что впервые разошелся с Достоевским из-за денежных неприятностей после закрытия «Эпохи». На самом деле отношения еще

задолго до этого стали трудными. 25 июня 1864 г. Страхов писал брату: «С Достоевскими я чем дальше, тем больше расхожусь. Федор ужасно самолюбив и себялюбив, хотя и не замечает этого»³¹. Дружеские связи оживились, как считал Достоевский, после выхода в свет «Преступления и наказания».

В годы пребывания Достоевского за границей (1867—1871) Страхов и Аполлон Майков были самыми регулярными и идейно близкими его корреспондентами. Однако по возвращении писателя на родину многое изменилось. Первоначальная причина расхождения между Достоевским и Страховым не вполне ясна, но сам Страхов свидетельствует об этом разладе недвусмысленно: «Редакция „Гражданина“ была предложена Федору Михайловичу князем Вл. П. Мещерским <...> Со своей стороны, несмотря на несколько охладившиеся отношения, я считал долгом усердно писать тогда в „Гражданине“, в котором, впрочем, был сотрудником с самого его начала»³².

Очевидно в это время духовное общение между Достоевским и Страховым прекратилось совсем, поскольку даже об обстоятельствах, при которых Достоевский стал редактором «Гражданина», Страхов принужден был узнавать от третьих лиц: «Судя по рассказам, он принял на себя редакторство впопыхах, не подумавши, — сообщал Страхов Н. Я. Данилевскому 11 июня 1873 г.»³³ А вот письмо тому же адресату 6 января 1874 г.: «Несчастный Достоевский совсем измучился. Я его очень ценю и многое ему прощаю, но при его теперешней раздражительности просто избегаю с ним видеться»³⁴. Некоторые причины недовольства Достоевского названы в письме к нему Страхова 30 января 1874 г.: «...Не вздумайте винить меня в лености, бессердечии апатии и неблагодарности; право, я стараюсь вести себя хорошо и отчасти вашим искренне преданным и глубоко уважающим. Н. Страхов»³⁵.

В это же время Достоевский внес в тетрадь едкую характеристику Страхова как «затолстевшего человека»: «Если не *затолстеет*, как Страхов» (стр. 312).

Решение Достоевского передать новый роман («Подросток») в «Отечественные записки» Некрасова и Салтыкова, в журнал, по адресу которого он изливал столько злой иронии в своих письмах из-за границы, еще более отдалило его от Страхова. Но здесь Страхов почувствовал возможность «взять реванш» и выразить Достоевскому свою неприязнь как отступнику. Осуждал Достоевского и Майков.

6 февраля 1875 г. Достоевский так описывал жене свои впечатления от визита к Майкову: «Он же встретил меня по-видимому радушно, но сейчас же увидал я, что сильно со складкой. Вышел и Страхов. Об романе моем ни слова и, видимо, не желая меня *огорчать*. Об романе Толстого тоже говорили немного, но то, что сказали — выговорили до смешного восторженно. Я было заговорил насчет того, что если Толстой напечатал в „Отеч(ественных) записках“, то почему же обвиняют меня, но Майков сморщился и перебил разговор, но я не настаивал. Одним словом я вижу, что тут что-то происходит и именно то, что мы говорили с тобой, т. е. Майков распространял эту идею обо мне. Когда я уходил, то Страхов стал говорить, что вероятно я еще зайду к Майкову и мы увидимся, но Майков, бывший тут, ни словом не выразился, что ему бы приятно видеть меня. Когда я Страхову сказал, чтоб он приходил ко мне в Знаменскую гостиницу вечером чай пить в пятницу, то он сказал: вот мы с Аполлоном Ник. и придем, но Майков тотчас отказался...»³⁶ В другом письме, 11 февраля, Достоевский продолжает: «был <...> вечером у Страхова. Страхов знает о моем недовольстве на Майкова, и, кажется, передал ему, потому что Майков прислал мне письмо и приглашает сегодня во вторник к себе обедать. Но я еще вчера вечером его видел у Страхова. Было очень дружелюбно, но не нравятся они мне оба, а пуше не нравятся мне и сам Страхов, они оба со складкой»³⁷. На следующий день Достоевский опять возвращается к этой неприятной теме: «Я Страхову у Корпилова выразил часть моей мысли, что Майков встретил меня слишком холодно, так что я думаю, что он сердится, ну а мне все равно. — Страхов тогда же пригласил меня к себе в понедельник, а приглашительное письмо Майкова было вследствие того, что Страхов ему передал обо мне. Майков, Анна Ивановна (жена Майкова. — Л. Р.) и все были очень милы, но зато Страхов был почему-то со мной со складкой. Да и Майков, когда стал расспрашивать о Некрасове и когда я рассказал комплименты мне Некрасова, — сделал грустный вид, а Страхов так совсем холодный. Нет, Аня, это скверный

семинарист и больше ничего; он уже раз оставлял меня в жизни, именно с падением „Эпохи“, и прибежал только после успеха „Преступления и наказания“. Майков несравненно лучше, он подсадует, да и опять сблизится и все же хороший человек, а не семинарист»³⁸. Эта характеристика Страхова отдаленно предвосхищает то, что Достоевский написал почти через два года.

Отзыв о Страхове в записной тетради касается не только личных его качеств, но и литературной деятельности. Отзыв желчный, презрительный, уничтожающий.

«Н. Н. С. Как критик очень похож на ту сваху у Пушкина в балладе „Жених“, об которой говорится:

Она сидит за пирогом
И речь ведет обиняком.

Пироги жизни наш критик очень любил и теперь служит в двух видных в литературном отношении местах, а в статьях своих говорил *обиняком*, по поводу, кружил кругом, не касаясь сердцевины. Литературная карьера дала ему 4-х читателей, я думаю не больше, и жажду славы. Он сидит на мягком, кушать любит индеек и не своих, а за чужим столом. В старости и достигнув 2-х мест, эти литераторы, столь ничего не сделавшие, начинают вдруг мечтать о своей славе и потому становятся необычайно обидчивыми. Это придает уже вполне дурацкий вид, и еще немного, они уже переделываются совсем в дураков — и так на всю жизнь» (стр. 619—620). «Кушать сладко и сидеть на мягком» — на языке Достоевского — привычная формула для обозначения буржуазной сытости и душевной успокоенности. Ср. в той же «Записной тетради»: «Развлечен(ие): Жрать, да спать, да гадить, да сидеть на мягком» (стр. 610). В декабрьском выпуске «Дневника писателя» Достоевский, говоря о людях, чьи главные интересы сводятся к удовлетворению плотских потребностей, буквально повторяет эти слова: «О, жрать, да спать, да гадить, да сидеть на мягком — еще слишком долго будут привлекать человека к земле, но не в высших типах его».

Достоевский утверждает, что главный двигатель тщеславия Страхова — это воспоминания о четырех скучненьких брошюрках и многих «обиняковых критиках», да еще два казенные места. Достоевский как будто вовсе забыл, как высоко отзывался он об этих брошюрках и «критиках» Страхова в письмах к нему несколько лет назад: «Вы в эти два-три года почти молчания вашего сильно выиграли, Николай Николаевич. (Имеется в виду период после закрытия «Эпохи» до появления журнала «Заря», который редактировал Страхов.— Л. Р.) Это мое мнение, судя по вашим „Бедность“ (брошюра «Бедность нашей литературы», 1867.— Л. Р.) и статье в „Заре“. Я всегда любовался на ясную вашего изложения и на последовательность; но теперь, по-моему, вы стоите несравненно крепче. Жаль, что не „Бедностью“ вы начали в „Заре“, т. е. жалею, что „Бедность“ была напечатана раньше. <...> Кстати, заметили вы один факт в нашей русской критике? Каждый замечательный критик наш (Белинский, Григорьев) выходил на поприще непременно как бы опираясь на передового писателя, т. е. как бы посвящал всю свою карьеру разъяснению этого писателя <...> Белинский заявил себя ведь не пересмотром литературы и имен, даже не статью о Пушкине, а именно опираясь на Гоголя, которому он поклонялся еще в юношестве. Григорьев вышел, разъясняя Островского и сражаясь за него. У вас бесконечная, непосредственная симпатия к Льву Толстому с тех самых пор, как я вас знаю. Правда, прочтя статью вашу в „Заре“, я первым впечатлением моим ощутил, что она *необходима* и что вам, чтоб по возможности высказаться, иначе и нельзя было начать, как с Льва Толстого, т. е. с его *последнего сочинения*».

Некоторый элемент заведомого преувеличения в этих словах, конечно, чувствуется. Достоевский хочет быть беспристрастным, заглушить свое ревнивое отношение и к Страхову и к автору «Войны и мира», которого он вовсе не считал представителем «нового слова» в той мере, каким был Гоголь. Достоевский упрекает Страхова за некоторую пассивность, отсутствие интереса к полемике, но в целом горячо хвалит его как критика; «Ясно, логично, твердо сознанный мысль, написанная изящно до последней степени.<...> В конце концов я считаю вас за единственного представителя нашей теперешней критики которому принадлежит будущее.<...> Вы должны непре-

менно написать в год три или четыре большие статьи...»³⁹ И, наконец, Достоевский признается Страхову: «Вы один из людей, насильнейше отразившихся в моей жизни, и я вас искренно люблю и вам сочувствую»⁴⁰.

В характере Достоевского не удивляют такие поистине поразительные контрасты. Достаточно вспомнить, как резко менялось на протяжении трех десятилетий его отношение к Белинскому, не только к идеям Белинского, что нетрудно понять в свете эволюции самого Достоевского, но именно к его личности. Охваченный враждебным отношением к Страхову, Достоевский как бы зачеркивает все доброе в прошлом как нелепость, как заблуждение. Вот его заключительные слова о Страхове в записи 1877 г.:

«Чистейшая семинарская черта. Происхождение никуда не спрячешь. Никакого гражданского чувства и долга, никакого негодования к какой-нибудь гадости; несмотря на свой строго нравственный вид, втайне сладострастен и за какую-нибудь жирную грубо-сладострастную пакость готов продать всех и все, и гражданский долг, которого не ощущает, и работу, до которой ему все равно, и идеал, которого у него не бывает, и не потому, что он не верит в идеал, а из-за грубой коры жира, из-за которой не может ничего чувствовать. Я еще больше потом поговорю об этих литературных типах наших, их надо обличать и обнаруживать неустанно» (стр. 620). Значит, у Достоевского было намерение изобличить Страхова — как некий литературный тип, общественную фигуру, поговорить о подобных лицах в «Дневнике писателя». Желание это высказано весьма энергично.

Трудно не заметить, что кое-что в этой оценке напоминает слова Страхова о Достоевском в печально-памятном письме его к Толстому: «Все время писанья я был в борьбе, я боролся с подымавшимся во мне отвращением, старался подавить в себе это дурное чувство. <...> Пособите мне найти от него выход. Я не могу считать Достоевского ни хорошим, ни счастливым человеком (что, в сущности, совпадает). Он был зол, завистлив, развратен, и он всю жизнь провел в таких волнениях, которые делали его жалким и делали бы смешным, если бы он не был при этом так зол и так умен. <...> Я много раз молчал на его выходки, которые он делал совершенно по-бабьи, неожиданно и непрямо; но и мне случалось раза два сказать ему очень обидные вещи. Но, разумеется, в отношении к обидам он вообще имел перевес между обыкновенными людьми, и всего хуже, что он этим услаждался, что он никогда не каялся до конца во всех своих пакостях. <...> Заметьте при этом, что, при животном сладострастии, у него не было никакого вкуса, никакого чувства женской красоты и прелести. Это видно в его романах. Лица, наиболее на него похожие, — это герой „Записок из подполья“, Свидригайлов в „Преступлении и наказании“ и Ставрогин в „Бесах“; одну сцену из Ставрогина (растление и пр.) Катков не хотел печатать, но Д<остоевский> здесь ее читал многим»⁴¹.

Вполне вероятно, что именно в то время, когда Катков, ссылаясь на соображения моральные, отказался печатать в «Русском вестнике» десятую главу «Бесов» («исповедь Ставрогина») из-за эпизода с растлением малолетней девочки, а Достоевский, несогласный с обвинением в безнравственности, «читал ее многим», возникла версия об автобиографичности этого сюжета. По уверению Страхова, Висковатов будто бы слышал признание самого Достоевского. А вместе с тем в той же записной тетради Достоевский сделал заметки, свидетельствующие о желании выступить в печати с объяснением характера Ставрогина, указать на связь его духовной опустошенности с самым тяжким из преступлений. Говоря о «грязном поступке» Ставрогина, Достоевский решительно отвергает рассуждения о «грязи» самого автора, которую якобы «поправляет „Русский вестник“». «В „Подростке“ находил Ав<сеенко> грязь. Это в рассказе-то матери. Неправдоподобность, но это свято с истинного происшествия. Это после-то сыщика и двух девиц. Это после-то повторившейся в Москве истории с дамой, на Сенной две дамы. Возвестил, что „Русский вестник“ поправлял мою грязь. Я не отвечал. Этого не было. Из каких источников. Ставрогин (неверующий, и торжество новой жизни, укор одного грязного поступка)» (стр. 555—556).

Если Достоевскому довелось узнать (а это вполне могло случиться), что в разговорах о «грязи» принимал участие и Страхов, его недавний друг, то становятся понятны-

ми гневные слова писателя: «он и сам делает гадости; несмотря на свой строго нравственный вид, втайне сладострастен и за какую-нибудь жирную грубо-сладострастную пакость готов продать всех и все». Отзыв Достоевского звучит пророчески, как бы предостерегая каждого, кто захочет довериться будущим наветам Страхова.

Можно предположить, что Страхов видел эту запись Достоевского. В то время, когда готовился первый том посмертного собрания сочинений писателя, Анна Григорьевна Достоевская предоставила ему и О. Ф. Миллеру возможность ознакомиться со многими материалами архива писателя. Было решено издать большую часть последней тетради Достоевского, просматривались, видимо, и другие тетради. Об этом косвенно говорит и следующая фраза из «Воспоминаний» Страхова: «В одной из его (Достоевского.— Л. Р.) записных книг сохранился листок...»⁴² и т. д. Страхов, который был далек от Достоевского в последние годы жизни, вероятно, особенно интересовался его записями, сделанными для себя. То, что А. Г. Достоевская не заметила антистраховской записи Достоевского ни в то время, ни даже впоследствии, — совершенно очевидно, иначе она каким-нибудь образом упомянула бы о ней в заявлении по поводу письма Страхова Толстому. Но как знать, не попала ли эта страница на глаза самому Страхову и не потому ли, в частности, он писал «Воспоминания» о Достоевском, борясь с «подымавшимся отвращением», стараясь «подавить в себе дурное чувство»?

То, что письмо к Толстому написано Страховым не в порыве горького чувства, а было результатом заранее продуманного намерения, доказывает запись, сделанная им на отдельном листе под заглавием: «Для себя». Она почти текстуально совпадает с началом письма к Толстому: «Во все время, когда я писал воспоминания о Достоевском, я чувствовал приступы того отвращения, которое он часто возбуждал во мне и при жизни и по смерти; я должен был прогонять от себя это отвращение, побеждать его более добрыми чувствами, памятью его достоинств и той цели, для которой пишу. Для себя мне хочется однако формулировать ясно и точно это отвращение и стать выше его ясным сознанием»⁴³.

Страхов, конечно, понимал, что со временем не только последняя тетрадь Достоевского, но и все остальные будут опубликованы. Знал он также, что когда-нибудь будет издана и переписка Льва Толстого. Быть может, и эту мысль отчасти имел он в виду, направляя письмо Толстому, своеобразный «ответ» Достоевскому.

Рассматривая запись Достоевского о Страхове, важно подчеркнуть, что ее «личное» содержание неуклонно возводится к общественному. Страхов изображен как тип литератора-семинариста, как явление почти нарицательное. С этой темой внутренне связаны и следующие наброски Достоевского о психологии семинариста (стр. 622).

В БОРЬБЕ С ТЯЖКИМ НЕДУГОМ

Даже в таких сугубо интимных записях, как перечень и описание эпилептических припадков Достоевского, обнаруживаются «выходы» в общую, литературную тему. Достоевский систематически записывал дни и часы припадков, свое самочувствие при этом, отмечал влияние погоды и т. д.

Необычайную силу духа проявляет Достоевский в эти минуты. Превозмогая жестокую физическую боль, он при первой же возможности возвращается к работе, подвергает внимательному самоконтролю все свои поступки и душевные движения. Если учесть, что иногда припадки учащались настолько, что их приходилось ждать каждую неделю, можно понять, какую истинно-героическую жизнь вел Достоевский. Вот характерная запись (1875 г.): «8 апреля. Припад(ок) в $\frac{1}{2}$ первого пополудни. Предчувствовал сильно с вечера, да и вчера. Только что сделал папиросы и хотел сесть, чтоб хоть две странички написать романа, как *помню* полетел, ходя среди комнаты. Пролежал 40 минут. Очнулся сидя за папиросами, но не делал их. Не помню, как очутился у меня в руках перо, а пером я разодрал портсигар. Мог заколоться. Всю неделю сырость, нынче (ночью) лишь полнолуние и, кажется, морозец. 8 апреля полнолуние. <...> Голова же болит не так чтобы очень. Теперь почти час после припадка. Пишу